

*ПОЛЕМИКА В ДИСЦИПЛИНЕ:  
ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В БЫВШЕМ СССР «ПОД ЗАПАДНЫМ  
ВЗГЛЯДОМ»*

*Постколониальная антропология на гендерном поле:  
гендер (под)полом или гендерный поло-центризм?\**

*Елена Кочкина*

*«Гендер – сила, гендер – власть<sup>1</sup>.  
Ниже пола – не упасть».*

*Частушки. Впервые представлены  
в исполнении Ольги Липовской на  
банкете конференции «Феминизм»  
Петербургского центра гендерных  
исследований в п. Комарово, 2 июля  
1993 года.*

Не решить, но поставить проблему, которую, как мне кажется, можно обозначить как проблему постколониальной антропологии в постсоветских гендерных исследованиях, заставил меня сборник статей Сергея Ушакина, собранный из 13 ранее опубликованных статей автора за исключением первой: она была переписана, очевидно, под предисловие. Книга получила вторую премию Российской ассоциации политических наук за 2007 год. По всем правилам фе-

---

\* Ушакин С.А. *Поле пола* (Вильнюс: ЕГУ – Москва: ООО «Вариант», 2007), 320 с.

министской теории С. Ушакин ставит перед собой радикальную политическую задачу (что и было оценено Российской ассоциацией политических наук), которую он, по его словам, реализует внутри дискурса постсоветских гендерных исследований на протяжении многих лет – быть «своеобразной реакцией, полемическим откликом на очередную попытку отечественного обществоведения «решить» «половой вопрос» (с. 9).

Каким же методом пользуется С. Ушакин для решения данной политической задачи? Метод, в терминах автора, также назван определенно и решительно: «сочетание несочетаемого, пародия, игра со смыслами, их травестирование» (с. 33).

Более подробно политическую задачу данной книги С. Ушакин определяет в первой статье «Слова желания: о символической антропологии пола» (с. 5–18), которая выполняет роль предисловия: *«Статьи, вошедшие в данный сборник, во многом следуют .. идеям символической антропологии. В разных контекстах и с помощью разных теоретических подходов я попытался понять, как образы и знаки „пола“ используются для осмысления представлений, действий или идентичностей. Оставив традиционную увязку „пола“ с сексуальностью за рамками своих исследований, я хотел проследить, как символы „пола“ структурируют, например, массовые представления о потреблении или индивидуальные практики страданий»* (с. 9). И там же: *«Еще одной важной темой собранных здесь статей стал анализ „пола“ как исследовательской категории: следуя общему принципу, я хотел не столько установить финальный смысл этой категории, сколько продемонстрировать „жизнь“ этой категории в разных теоретических контекстах»* (с. 9).

В результате поставленной политической задачи С. Ушакин с его изменявшейся на протяжении десяти лет написания данных текстов субъект-позицией (гражданская идентичность, этничность – российский кочевник или гражданин глобализирующегося мира? профессионально-ассоциативная принадлежность – американские и/или российские профессиональные сети? и пр.) и его менявшимся позиционированием по отношению к гендерной методологии, конечно же, нигде не подчеркивает, какой пол (мужской или женский) и почему его интересует. Согласно этой задаче автору принципиально безразлично, какие у тела гениталии – мужские или женские, так как его принципиально не интересует тема, о каком биологическом поле идет речь и насколько субъект адекватно функционирует в какой-либо половой роли: *«Нет на сегодня менее надежной вещи, чем пол, – при всей раскрепощенности сексуального дискурса..»* (с. 12). В рамках заявленного дискурса «символической антропологии» как *«общей метафоры иллюзорности привязанности к телу, имени, стране»* (с. 6) или *«жизни» этой [пола – Е.К.] категории»* С. Ушакина вполне естественно интересует процесс идентификации субъектом своего пола скорее как процесс освобождения от него, в том числе и через прохождение состояния половой неопределенности

(«индетерминированности», в терминах автора). Парадоксом данной стратегии исследования «жизни категории» является, пожалуй, тот факт, что «жизнь категории» исследуется на примере конкретных и травматических *жизненных ситуаций* (например, не только героя/ини Давид Гуренко-Дейла-Мэгги-Давид Гуренко из романа Леонида Костюкова «Великая страна», проходящего/ей через хирургический процесс смены пола и психологический процесс осмысления этого травматического события, но и на примере жизненной ситуации женщин из Комитетов солдатских матерей, в частности лидера Комитетов солдатских матерей в г. Барнауле в 2001–2003 годах С(ветланы?) Павлюковой, когда часть ее базовой гендерной (?) или половой (?) идентичности была взорвана смертью рожденного сына и др.). На фоне данного парадокса противопоставления «жизни категории» и конкретных жизней конкретных людей выделение в качестве предмета исследования «дисфункциональной системы нормативных координат» как «системы полового деления, т. е. системы распределения власти и желания, обусловленной половым различием» (с. 12) выглядит достаточно двусмысленным, поскольку, обосновывая критерий своей выборки, автор специально уточняет, что его интересуют не отдельные клинические случаи (т.е. не пациенты психотерапевтов или психиатров – реальные, в ситуации конкретной травмы, или потенциальные, в условиях общества потребления и капиталистических типов неравенств), но системные ситуации дисфункции социальной нормы, когда личность не может идентифицировать свой пол.

Совершенно естественно, что в рамках символической антропологии С. Ушакина интересуется воображаемое и 1) как механизм «*неспособности тела детерминировать желание, это несовпадение между пережитым и выраженным*», и 2) как «*производство символического капитала в социальных процессах*», когда оно «*стало неотъемлемой частью производства и циркуляции материальных ценностей*» (с. 7). Наверное, именно поэтому автор связывает специфику функционирования постиндустриальных обществ с постепенным *вымыванием желания, постепенной подменой желания соблазном* (в соответствии с концепцией соблазна Бодрийера) (с. 11) и кратко описывает несколько моделей желания. Например уточняет, что модель желания Бодрийера эффективнее, чем модель желания Фрейда (с. 13), поскольку расширяет диапазон возможных объектов желания и демонстрирует обусловленность ограничивающих норм; модель желания Фуко, по мысли автора, «*дала возможность обратиться к технологии производства эмоций, цементирующих привязанность к тому или иному объекту: структурное место „нормы“ заняло „удовольствие“*» (с. 14). Модели желания Лакана и Кристевой, по мнению автора, показали, как «*происходит постоянная подтасовка, а то и полная перелицовка человеческого желания означающим*» и что «*этот процесс вынужденной дифференциации между выражаемым и выраженным ..совпадает с процессом отчуждения желания означающим...*» (с. 15), когда в конечном итоге желание ... оказывается

родственным страданию. С. Ушакин в статье «Вместо утраты: материализация памяти и герменевтика боли в провинциальной России» (с. 286–317) прямо задает вопрос лидеру Барнаульского КСМ Светлане Павлюковой: почему женщины, которые знают, что их сын может быть убит на войне, продолжают отдавать в армию своих сыновей («зачем нужно идти на войну – будь то „Айган“ или Чечня, – и какие именно ценности мы там отстаиваем»? И потом, в качестве символического антрополога, констатирует: «она смутилась. С трудом подбирая слова, она отрывисто произнесла серию коротких фраз: «Да, вот... как бы... сказать это? Как бы выразиться-то? Чего-то у нас нет. Раньше мы за что-то были... Да, ну, ... нет какого-то идеала, ради чего мы живем. Ну, я в общем-то, знаете, я патриот своей Родины. Ну, и для меня Россия все равно остается Родиной» (с. 305)).

Если даже не уточнять, что проявленный в символической антропологии С. Ушакина интерес к желанию и воображаемому целенаправленно используется в современных обществах потребления, в маркетинге и борьбе производителей товаров и услуг за массового потребителя, именно здесь мне хотелось бы напомнить указание Елены Гаповой в статье «Гендерная проблематика в антропологии»<sup>2</sup> на то общеизвестное, что «этнография – это жанр, возникший вместе с распространением империализма и необходимый ему». Именно поэтому Маргарет Мид в свое время сформулировала известные правила гуманистической антропологии<sup>3</sup>. Почему же С. Ушакин, также находясь в рамках передового западного антропологического дискурса и либерально сформулировав, что «хотел не столько установить финальный смысл», нарушает этические правила антропологов делать оценочные/«финальные» замечания в отношении наблюдаемых им постсоветских людей: и относительно образа их мыслей, и относительно их письменных выражений, их склонностей в выборе одежды (майки участников летней школы по гендерным исследованиям (с. 111)) и т.п. С другой стороны, возможно, данная политическая стратегия исследователя отвечает общей стратегии символических антропологов 60-х годов, чьи интересы смещались от принципов анализа функционирования символов (с их привязками к мотивациям личности) к анализу нормативных систем по регулированию поведения (с его систематическими и структурными сбоями, например, болью, травмой, нарушениями идентичности и т.п.), даже если поведение субъектности оценивается по критериям «процесса потребления знака» (с. 10)?

Ведь отнюдь не случайно, что, предлагая использовать в данной книге и во всем своем творчестве термин «пол», а не «гендер» как категорию «социальной модели», автор не обсуждает конкретную жизненную ситуацию российских гендерных исследовательниц и исследователей, называя политическую стратегию Анастасии Посадской по «запуску» в 1989 году в пространство русского языка нынешнего неологизма «гендер» (с. 100) неубедительной прагматикой. С. Ушакин настойчиво убеждает читателей, что не стоит преувеличивать биологизм

пола. С. Ушакину неочевидно из его «прекрасного далека» (точнее – «из вне»), из взгляда ниоткуда<sup>4</sup>), что термин «пол» в российской культуре тотально и жестко биологичен, что вся система социальной коммуникации 147 миллионов россиян прошла через обучение использовать слово «пол» как слово, обозначающее биологию тела. Что касается советских и постсоветских медиков и профессионально обученных биологов, то они знают, что «пол» – это не монолитное понятие, а структурированное по семи уровням (они выделяют филогенетические критерии – генетический или хромосомный, гонадный, гаметный, гормональный, морфологический<sup>5</sup> – и оперируют с биологическими вариативностями пола<sup>6</sup>). Еще они хорошо информированы и могут использовать такие понятия как «акушерский пол» (определяется при рождении визуально) и «гражданский пол» (определяется по факту записи в ЗАГСе). Все эти уровни филогенеза и онтогенеза советского и постсоветского человека, к сожалению автора, не интересуют, хотя именно за интерпретацию влияния социальных условий на биологические уровни пола и идет концептуальная схватка в социальных науках последние семнадцать лет (например, сколько девочек и мальчиков рождается в мирное время? сколько в условиях войны? и пр. и пр.).

Что же мешает исследователю найти ответ в рамках дискурса «жизни категории» на ключевой для него, как мне кажется, вопрос: почему, несмотря на «социальную сконструированность», категории пола (идентичности, объектов желания, практик, слов и символов) «продолжают оказывать столь мощный мобилизующий эффект»? (с. 17). Может заданный мной ранее вопрос об устройстве гениталий каждой личности не так уж и риторичен, а автор в качестве сторонника субъектной половой неопределенности симптоматически привержен все-таки своему анатомическому полу? Не является ли действительно симптоматичной теоретическая гиперболизация автором цитаты из романа Леонида Костюкова, где герой художественного произведения устанавливает свой пол посредством обнаружения движением руки между ног у себя мужских половых гениталий. Собственно, он устанавливает у себя так называемый «акушерский пол». А далее обнаруживает себя через запах собственного тела (что это – свидетельство эндокринного пола?). И главное, героя не устраивает этот мужской (sic!) пол (а запах, кажется, не устраивает его еще больше). Не отсюда ли теоретическое и политическое стремление к символическому полу и символической антропологии?

Однако, если отбросить мою слабую попытку повторения исследовательского метода автора, – «пародия, игра со смыслами, их травестирование» – причина невозможности ответа на сформулированный выше вопрос, очевидно, состоит все-таки в другом. В следующих абзацах я обозначила часть проблематизаций, которые, как мне кажется, помогут как-то дальше и уже другим исследователям развивать проблему постколониальной антропологии на постсоветском гендерном поле.

1. Мне кажется, что интерес С. Ушакина к полу как категории социального анализа является прикладным. Пол как категория анализа для него – категория переменная: как антрополог он дистанцированно наблюдает и может наблюдать через жизнь постсоветского российского «пола» и любые иные процессы.

2. Надо, конечно, отдать должное С. Ушакину в его политической стратегии самоидентификации, когда он ни разу в тексте в рамках дискурса символической антропологии не идентифицировал себя ни как феминиста, ни как гендерного исследователя. Другими словами, автор сборника как постмодернист предпочел ничего не сообщить о своей научной идентификации, очевидно, считая постсовременные «съёмные идентичности» несущественными. «Идентичность утратила некий сущностный характер, оказавшись лишь отражением символической грамотности индивида», по словам автора (с. 7). Однако если собрать все фрагменты текста автора, сказанные, например, об американском феминизме (о существовании феминизма в других странах, кроме России, автор не пишет), то обнаруживается, что он все-таки признает социально-политические достижения этого движения и важный вклад западного феминизма в развитие современной социальной теории 20 века, в частности социальной антропологии (с. 235). Может ли данный факт как-либо уточнить политическую идентификацию автора или нет?

3. В интерпретациях автором американского феминизма неожиданно, но явно обнаруживается *теория однолинейного развития*: «первая» и «вторая» волны американского феминизма закончились (и соответственно Америка освоилась с теориями Катарины МакКинон, Нэнси Чодороу, Кэрол Гиллиган) (с. 59, 101–102), и теперь российским исследовательницам и исследователям имеет смысл обсуждать только постфеминизм «третьей» волны (с. 60, 104).

4. К российскому феминизму и гендерным исследованиям у С. Ушакина особое отношение, не позволяющее ему обозначать эти социальные явления в каких-либо общепринятых/западных научных терминах, изобретая собственные в рамках стратегии постколониальной символической антропологии. Например, в ранних статьях (1996–1997 гг.) С. Ушакин использует категорию «гендер» и «гендерные исследования» часто в кавычках, что в системе графических условных обозначений русского языка может обозначать «якобы существующий», признавая для постсоветских ученых исключительно конъюнктурное использование данной категории в качестве потребительски «полезной»; в статье 1997 года автор «запускает» в российское академическое пространство паронимически провоцирующий проект «пола» (с. 17), суть которого описана мною выше.

5. Здесь же в рамках дискурса американской глобализации и постколониальной антропологии на примере постсоветских гендерных исследований возникает проблема, которую я обозначила бы проблемой названия по имени. Имя – это то, чем каждый из нас обладает, наша собственность; Джудит Батлер когда-то специально писала о таком современном способе насилия как нена-

звание по имени. Я не буду разбираться с тем фактом, что С. Ушакин пропускает отчества всех русскоязычных авторов (несмотря на то, что имя мне дала мать, отчество я наследую по традиционной и реальной системе российского и постсоветского гражданства). Более интересным мне кажется способ, каким автор называет и цитирует референтных для него авторов и авторов, которые для него – объект исследования его символической постколониальной антропологии. У С. Ушакина я выделила *четыре* типа и уровня позиционирования к именам собственным. 1) Те, чье мнение для него как антрополога является авторитетным, именуется в тексте полностью – имя с фамилией: Славой Жижек, Жан Бодрийяр, Джудит Батлер (с. 95), Маргарет Мид (с. 36). 2) Тех исследователей, работы которых он оценивает более или менее высоко, хотя и критикует, автор называет также по имени и фамилии: Анна Темкина, Елена Здравомыслова (с. 271). 3) Тех исследователей, которых он безусловно критикует, пишутся в сокращении – фамилия и инициал имени на втором после фамилии месте: Силласте Г. (с. 96–97), Посадская А. и Римашевская Н. (с. 100), Фрейд З. (с. 36). 4) Имена наиболее критикуемых исследователей автор не пишет вовсе, но дает ссылку на цитируемый источник (с. 35). В итоге на одном развороте страниц (с. 35–36, с. 95–96) мы видим французских мэтров с именами и фамилиями, а также фамилию с инициалом российской гражданки и Фрейда З. Это ли не проявление колониального мышления? Почему, например, автор свою ключевую информантку, председательницу барнаульского КСМ именуется по фамилии с одним инициалом: С. Павлюкова (правда, впереди фамилии), а Славоя Жижека – полным именем? Мой гендерно-профессионально деформированный мозг прочитывает этот тип именования как знак превосходства Славоя Жижека в интерпретации жизненной ситуации С(ветланы?) Павлюковой над тем, как это осуществляет сама С(ветлана?) Павлюкова.

6. Выбор метафоры: постколониальное и социально-стратификационное уточнение. Порой текст автора напоминает пародию в стиле Антоши Чехонте, например сравнение «гендера» с ваучером и блохой Лескова (с. 183). Метафора отвечает потребности автора уловить и создать сходство между очень разными классами объектов<sup>7</sup>, и С. Ушакин активно пользуется этим сильнейшим речевым средством, которое позволяет задействовать наиболее фундаментальное свойство мышления и языка читателя. Он обращается напрямую через наше воображение к нашему опыту ощущения подобия, не продумывая, как они будут прочитаны адресатами (российскими гендерными исследовательницами), и рискует обесценить их/наш/мой опыт. Прочтите эти пассажи и попробуйте идентифицировать себя с лесковским Левшой? Или достаньте из семейного сундучка ваучер (или те акции, на которые вы обменяли ваучер) и положите его слева. А справа положите те гендерные тексты, которые вы написали за последние 10-15 лет (вспомните, сколько сил вы потратили на производство этих текстов, сколько времени? И какие дивиденды принесли вам эти тексты: утоленное любознание и

вдохновение от сделанного открытия, ученую степень и повышение на кафедре, статус эксперта и общественное влияние, преодоление отчуждения и появление чувства принадлежности к лучшей части людей и пр.)? Будете ли вы считать, что С. Ушакин правильно подобрал метафору ваших/наших «ваучеров» в отношении лично вас? На мой взгляд, эта метафора работает, только если мы представим, что, например, у меня, как и у состоявшихся сорокалеток-олигархов был вариант, куда вложить мое время: в развитие гендерного подхода в России или в отнюдь не символический капитал. При этом метафора С. Ушакина про «ваучер» была адресована не кругу ребят, из которого вышли все олигархи, а кругу российских гендерных исследовательниц. Я могу только поделиться воспоминанием о том, как не просто из-за вышеназванной метафоризации сборник «О Муже(н)ственности» (издательство «НЛО» 2002 г.) получал финансовую поддержку на издание (это был первый сборник под редакцией автора?)<sup>8</sup>.

7. На мой взгляд, показательно, что пока ни одна из названных автором угроз или ни один из апокалипсических прогнозов относительно перспектив развития постсоветских гендерных исследований (об отравлении «гендерным импортом» см. с. 191; об «отсутствии корней и перспективы» см. с. 192) не сбылись. Заметим при этом, что прошло уже достаточно много времени. Оказалось, что российскому гендерному сообществу не надо открывать велосипед, чтобы следовать фундаментальной ироничной метафоре, сформулированной Эдуардом Фоминым: «гендер он и в кирпиче гендер»<sup>9</sup>.

8. «(Под)Пол(ьный) гендер». Статья «Поле пола: в центре и по краям» (изначально опубликована в журнале «Вопросы философии», 1999 г., № 2), сегодня оставляет ощущение парадоксального противоречия, еще более удивляющего, нежели восемь лет назад. Данное противоречие текста проистекает из того, что в момент написания этой статьи автор ставил под сомнение целесообразность привнесения в русский язык термина «гендер» и настаивал на терминологической достаточности термина «пол» (с. 56). При этом он использовал англоязычные книги и авторов (Connel, R. *Gender and Power*; Butler, J. *Gender Trouble...*) (под)полом и подпольно. Я не развлекаю вас метафорами типа «(под)пол(ьный) гендер» – «могучий и богатый» сам подбросил мне это выражение, когда я искала подходящие слова для обозначения ссылок внизу страницы. Благодаря этой «невинной» игре с английским словом «gender», которое автор везде заменяет словом «пол», (неологизм) «гендер» исчез со страниц текстов автора – он оказался под (русским словом) «пол». Вот такие правила перевода с английского языка на язык «родных осин»: под словом «gender» подразумеваю пол и, наоборот, под словом пол – «gender». В этой статье в далеком 1999 году он настоятельно убеждал всех нас – русскоязычных российских исследовательниц и исследователей – использовать термин «пол» и прилагательные из «великого и могучего», достраивая слово «пол» производными от него словосочетаниями: «половые различия» (с. 46, 49), «половые практики» как сексуальное



удовлетворение (с. 49), «половая структура» (с. 55), «половые стереотипы» (с. 46), половая идентичность (с. 46, 49), «символическая модель пола» (с. 50) и т.п. В результате в тексте С. Ушакина термин «гендер» не встретился мне ни разу. Вы представляете себе, чтобы Джудит Батлер и Нэнси Фрейджер могли бы обойтись без этого термина? Я – нет.

9. Что я выделяю как несомненную удачу автора после того, как он придал своим публикациям монографический вид? Это то, что можно назвать «российским поворотом»: обоснование, проблематизация и методология происходит с привлечением более чем 50% источников (библиографический подвал) из ссылок на российских гендерных исследовательниц (Гурко Т., Клещин А., Голод С., Римащевская Н., Малышева М., Здравомыслова О., Здравомыслова Е., Темкина А., Айвазова С., Мещеркина Е.) и социологов семьи (Антонов А., Голод С.) и др. Однако удивительно, как и в этом «российском повороте» автор не изменяет своим правилам цитирования.

10. К названным мною вопросам к статье «Вместо утраты: материализация памяти и герменевтика боли в провинциальной России» я хочу добавить следующие. Почему в предмет исследования изначально не включены в данном случае «живущие мужчины» – отцы погибших солдат, другие члены семей? У погибших парней, что ли, ни у кого нет в живых отца? Почему нет и ответа на вопрос, как смерть солдата изменила отношения в семье погибшего? Автора, как известно, интересовала тема: почему матери собираются вместе и почему им так необходима ритуализация травмы? Меня же интересовал бы ответ на вопрос: какое политически мобилизационное значение эти практики могут иметь?

Но С. Ушакин по неизвестной мне причине не учитывает другие исследования о роли гендерной идентичности в обеспечении политической мобилизации на примере КСМ (Эмми Кайяза делала сравнительный анализ эффективности кампаний по защите прав женщин на примере КСМ в МЦГИ в 1998–1999 гг., где доказывает, что традиционная гендерная политическая мобилизация матерей из КСМ в России оказывается на порядки выше, чем эмансипаторские риторички женских, даже нетрадиционно, то есть антиматерински, ориентированных групп).

12. И последнее: о технологии половой политики С. Ушакина. Не стоит ли исследовать специально, почему публикация «Поля пола» С. Ушакина в российском политическом пространстве мирно сосуществует например, с метафизической трактовкой пола в русской философии в трактовке Леонида Полякова<sup>10</sup>, оказывающего дискурсивную поддержку новой концепции «суверенной демократии». А также – с «полом» в трактовке его как биологического преподавателем Санкт-Петербургского государственного технического университета, историком и психологом Владимиром Искриным «Диалектика полов»<sup>11</sup> и академиком РАО, доктором медицинских наук Дмитрием Васильевичем Колесовым «Биология и

психология пола»<sup>12</sup> (10 тыс. экз.)?

В этих обстоятельствах С. Ушакин, назвав сборник «Поле пола», тем самым экспроприировал термин «пол» у «новых теоретиков» биологического фундаментализма в России. Время покажет, насколько эта дискурсивная стратегия «(под) пол(ьного) гендера» окажется политически эффективной для нас – жительниц и жителей России.

- 
- 1 Часть частушки вошла в название статьи организаторов той конференции, в которой авторы изложили теорию гендерной схемы Сандры Бем. См. Забадыкина Е., Ходырева Н. «Гендер – сила, гендер – власть...», *Все люди – сестры. Бюллетень №3* (СПб.: Санкт-Петербургский Центр Гендерных Проблем), с. 7–14.
  - 2 Гапова Е. «Гендерная проблематика в антропологии», *Введение в гендерные исследования*, Ч. I, под ред. Жеребкиной И. (Харьков: ХЦГИ – СПб.: Алетейя, 2001), с. 373.
  - 3 См., например: Мид М. «Как пишет антрополог», Мид М. *Мужское и женское. Исследование полового вопроса в меняющемся мире* (М.: ИСГИ-РОССПЭН, 2004), с. 41–60.
  - 4 Moller, S.O. *Justice, Gender and the Family* (New York: Basic books, 1989), p. 15; цит. по: Кэрролл С.Дж., Зеррили Л.М. «Феминистские вызовы политической науки», *Гендерная реконструкция политических систем*, под ред. Степановой Н.М., Кочкиной Е.В., Кириченко М.М. (М: ИСГП – СПб.: Алетейя, 2004), с. 904.
  - 5 См., например, научно-просветительское изложение этой темы в: Мирский В.Е., Михайличенко В.В., Заезжалкин В.В. «Эмбриология и половое развитие», *Детская и подростковая андрология. Краткое руководство* (СПб.: Питер, 2003), с. 12–23.
  - 6 Энциклопедическая статья «Пол», *Сексология. Энциклопедический справочник* (Минск, 1993), с. 207–209.
  - 7 Арутюнова Н.Д. «Метафора и дискурс», *Теория метафоры. Сборник*, общ. ред. Арутюновой Н.Д. и Журинской М.А. (М.: Прогресс, 1990), с. 15.
  - 8 Дело в том, что грантовый сертификат, который был призван поддержать выход этого издания, я согласовывала лично с президентом фонда. Она редко отказывалась подписывать представленные ей на подпись документы. С этим документом произошло иначе. Я запаниковала. И подала документы на подпись повторно, но уже пошла с ними лично. Оказалось, что президент (она – филолог и защищала диссертацию по «Улисс» Дж. Джойса, соответственно у нее, как и у многих переводчиков, сформировался профессиональный педантизм в отношении требований к грамотности русского языка) поначалу была оскорблена тем, что административная

система и грантовый департамент фонда позволяет себе грамматические вольности. Мне пришлось находить серьезные аргументы, дабы отстоять авторское название сборника...

- 9 Тезис Эдуарда Фомина в частной беседе в компании гендерных исследовательниц, гостиница «Академическая», Москва, 24 января 1996 г. Неформальное общение в ходе конференции МЦГИ «Гендерные исследования в России: проблемы взаимодействия и перспективы развития».
- 10 Поляков Л. «Женская эмансипация и теология пола в России XIX в.», *Феминизм: Восток-Запад-Россия*, Институт философии РАН (М.: Наука – Восточная литература, 1993), с. 157–176; Осипович Т. «Победа над рождением и смертью, Женофобия русской утопической мысли на рубеже XIX-XX веков», *Общественные науки и современность*, 1998, № 4. Перепечатка: *Женщины в обществе: мифы и реалии*, сост. Круминг Л.М. (М.: Информация XXI век, 2000), с. 103–110.
- 11 Искрин В. *Диалектика полов* (СПб.: Б&К, 2001).
- 12 Колесов Д.В. *Биология и психология пола* (М.: Флинта, 2000), с. 176.